П. В. АННЕНКОВ

Сочинения

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анненков писал свой очерк-воспоминание о Писемском в конце 1881 – в самом начале 1882 г., то есть вскоре же после смерти писателя (январь 1881 г.), и называл этот очерк «пространным некрологом».

Мемуарист располагал богатым биографическим материалом, собранным к тому времени женой и сыном писателя, но мало использовал его. В письме к Е. П. Писемской от 28 октября 1881 г. он подчеркивал, что пишет не биографию, а именно воспоминания и ставит своей целью «определить с некоторой достоверностью нравственные качества» А. Ф. Писемского, «те богатства души, мысли и таланта, которые лежали в основе его природы»

- Павел Васильевич Анненков
  - I
  - II
  - III
  - Примечания
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28

Павел Васильевич Анненков
Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском

I

Зиму 1849/50 года мне пришлось прожить в одном из губернских городов нашего Поволжья. Время было довольно неопределенное. Только что прогремела революция 1848 года в Париже, подымая за собой народные массы в большей части европейских столиц – в Берлине, Вене, Неаполе и др. и неожиданно обнаруживая, как много существовало в них, под покровом обманчивой тишины и внешнего благочиния, недовольства порядками жизни и политических страстей. Ничего подобного у нас не встречалось. Наша тишина была неподдельная, испытанная. Начиная с богатейшего земельного собственника и через весь ряд именитого и заурядного чиновничества до последнего торгаша на улице, все в один голос гордились и радовались тому, что политические бури и ураганы никогда не досягают и никогда не достигнут, по всем вероятностям, наших пределов. Нашлись, однако же, мудрецы, которым было мало этого. Относя спокойствие государства и общества к действию одного крепостного права, которое они поэтому и возвели в непререкаемый догмат русской жизни, мудрецы еще думали, что к выражениям народного патриотического настроения должно относиться дружелюбно, но действовать так, как будто его вовсе и не оказывалось. Ведь нельзя же, говорили они, полагать, что волны европейских событий никогда не докатятся до нас и не подроют где-нибудь втихомолку основ, на которых построена наша жизнь. Правильно понятый патриотизм обязан искать таких опасных подземных течений и благодарить тех, которые их открывают.

Результаты теории известны. Кроме всего прочего, явились подозрительные отношения к науке, враждебное настроение против утопистов, идеалистов, ученых, расплодившихся без меры и без ведома правительства под сению университетов. Цензура печати наравне с цензурой нравов и убеждений отданы были на произвол всем «ведомствам» и всем частным лицам, которые обнаружили бы к ней охоту и способности[1].

Так продолжалось до конца Крымской кампании, когда возникло движение, возвестившее наступление нового общественного периода. В этот грозный промежуток времени замолкли и так называемые деятели сороковых годов. Почти все они состояли еще налицо и находились в цветущей поре сил; но у них отобраны были, впредь до дальнейших распоряжений, их научные основы и предложено заменить их покамест другими, поправленными согласно требованиям эпохи. Образовалась

умственная пустота в общественной жизни, прерываемая обычным появлением журналов, со страниц которых несся какой-то смутный говор, ряд мнений и положений, словно переряженных или нарочно искалеченных для того, чтобы они не походили на дельные мнения и положения и не могли ввести читателей в искушение остановиться на них и посвятить им свое внимание.

В эту пору перерыва умственной жизни общества послышались голоса из органа М. П. Погодина и славянофилов, «Москвитянина», которые, при господствовавшем молчании, показались знамением времени, как бы указывавшим на скорое появление новых сил и литературных задач. Вокруг журнала, и, кажется, без особенных стараний редактора, образовалась группа молодых писателей, имевшая своих критиков, этнографов, философов, беллетристов и драматургов, которую петербургские их собраты приняли спервоначала за отрождение славянофильства, благодаря тому, что группа выказывала если не враждебность, то полное равнодушие к предшествующей публицистической деятельности западного кружка и искала других основ для развития, чем он. Писатели, составлявшие группу, обратились за источниками художественных вдохновений и за устройством своего созерцания к верованиям и бытовым привычкам народных масс. Не мудрено, что эти новые народолюбцы подали повод к недоразумениям; дороги, ими открываемые, близко шли около тропинок, пробитых прежде того славянофилами. Смешать их с последними было очень легко по общности вопросов, затрогиваемых обоими; но существовала большая разница в их способах понимать народную культуру и относиться к ней. Члены нового кружка, почти все без исключения, обладали значительным критическим чутьем, и это помогало им различать несостоятельность некоторых сторон русской жизни, хотя бы и выращенных веками и носящих на себе печать самой почтенной древности. Исконные славянофилы постоянно избегали всех таких разоблачений. Другое отличие школы от ее первообразов заключалось в убеждении, что указания западной науки должны еще способствовать к очищению и к укреплению русской народности на ее родной почве, – положение, неохотно допускаемое коренными славянофилами, которые видели в нем признак скрытного отщепенства. Обе партии связывались только одним общим чувством нерасположения к отрицанию важности народного быта, к абстрактному философствованию в области критики и публицистики, чем, по их мнению, отличался весь прошлый петербургский литературный период. Но и тут существовали еще

между ними значительные оттенки в мнениях. Так, озлобленные выходки тогдашнего «Москвитянина» против петербургских либералов, которых уже вовсе и не было, далеко не выражали всех взглядов и убеждений молодых сотрудников журнала; но редактор, кажется, с ними никогда и не справлялся для подобных заявлений. Как бы то ни было, московский кружок новых деятелей составлял замечательное явление даже и по количеству весьма талантливых людей, к нему пристроившихся. Он числил в своих рядах, между другими менее известными именами, еще А. Григорьева, Т. Филиппова, Эдельсона, Алмазова, А. Потехина, наконец А. Н. Островского и А. Ф. Писемского[2]. На последнем мы и остановимся.

Хорошо помню впечатление, произведенное на меня, в глуши провинциального города, – который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, – первыми рассказами Писемского «Тюфяк» (1850) и «Брак по страсти» (1851) в «Москвитянине». Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выводимых. Тут била прямо в глаза русская мещанская жизнь, вышедшая на божий свет, торжествующая и как бы гордящаяся своей открытой дикостью, своим самостоятельным безобразием. Комизм этих картин возникал не из сличения их с каким-либо учением или идеалом, а из того чувства довольства собой, какое обнаруживали все нелепые их герои в среде бессмыслиц и невероятной распущенности. Смех, вызываемый рассказами Писемского, не походил на смех, возбуждаемый произведениями Гоголя, хотя, как видно из автобиографии нашего автора, именно от Гоголя и отродился. Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на «затаенные слезы» не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, то есть самая редкая у новейших писателей, та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековские фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток[3].

Некоторые из мыслящих людей эпохи долго даже и не могли примириться с этой веселостью; им все казалось, что восторги перед голым комизмом изображений однородны с восторгами толпы на площади, когда ей показывают балаганного петрушку с горбом на спине и другими физическими уродливостями. Так, весьма требовательный и весьма зоркий литературный критик, В. П. Боткин, говорил еще несколько позднее, что он не может

сочувствовать писателю, который, при несомненном таланте, не обнаруживает никаких принципов и не кладет никакой мысли в основу своих произведений. Вскоре, однако ж, упреки эти умолкли и уступили место другим, противуположного характера. Писемский нажил себе таки в Петербурге *тенденцию;* а строгий его ценитель пришел в недоумение, когда наступило у нас полное господство *обличительной* литературы, породившее множество произведений весьма грубого облика, хотя и задуманных иногда с очень благонамеренными целями и задачами.

Когда я вернулся в Петербург в конце 1851 года, там уже говорили о том, что Писемский приобретен редакциями петербургских журналов в участники и сотрудники. Это было только наполовину правда, но все-таки составляло интересную новинку. В то время всеобщего затишья и отсутствия общественных интересов всякая мелочь и рябь на поверхности литературы обращали на себя внимание. Писемский давно уже питал намерение бросить службу, на которой состоял в Костроме, – асессором губернского правления. Успех его рассказов заставил его подумать о более широкой арене деятельности и о переселении в которую-либо из наших столиц. Все симпатии его были на стороне Москвы, где началась его литературная карьера и где он имел много друзей; но практический его ум подсказал ему мысль, что в Москве приобретается почетное имя, но только в Петербурге завоевывается твердое общественное положение. Писемский завязал отношения с одним из редакторов «Современника», И. И. Панаевым, и послал в журнал свой роман «Богатый жених» (1851). Можно пожалеть, что письма этого нового сотрудника журнала к Панаеву остались не опубликованными: корреспондент, помнится, сообщал в них сведения о вкусах провинциальной публики и о том, чего она искала в то время и какие статьи останавливали ее внимание. Ныне это было бы любопытным этнографическим документом[4].

Между прочим, в Петербурге уже давно поджидали Писемского, но осторожный автор «Тюфяка» явился на берегах Невы только в 1853 году[5], и появлению этому еще предшествовало заметное изменение в отношениях «Современника» к новому московскому кружку, собравшемуся под знаменем «Москвитянина».

Факт этот имеет некоторого рода значение как в биографии Писемского, так и в биографии другого деятеля, А. Н, Островского. Надо сказать, что оба главные органа петербургской журналистики, «Отечественные записки» и «Современник», старательно поддерживали, после смерти Белинского, полемику с

славянофилами, не давая совершенно погаснуть огоньку, который некогда освещал так ярко положение литературных партий и помогал скрытному обмену политических идей между ними. Известно, что Белинский к концу своего поприща склонялся признать разумность некоторых положений своих противников, но продолжатели его не хотели и слышать о каких-либо уступках. По-своему они были правы. При том гнете, который лежал на печати, единственная возможность заявить себя бодрым еще и действующим организмом заключалась для журналистики в возобновлении старой литературной полемики.

К подобному же заключению приведена была и партия славянофилов. Борьба снова завязалась, но теперь она походила уже на струю той сказочной живой воды, которая имела силу воскрешать мертвецов, ею окропленных; сражались уже не живые люди, а мертвецы, что доказывалось их оружием: повторением старых, некогда столь новых и ярких тем, подогретыми останками прежней бойкой речи, намеками на давние смелые и теперь обветшавшие положения и проч.

Наиболее свежим и живым бойцом, выставленным Москвою, оказался Ап. Григорьев, замечательный критик эпохи; но это был славянофил не очень чистой крови. Артистическая его натура часто не выдерживала аскетической принужденности, налагаемой школою, и его видели не раз в рядах поклонников перед западными идеями и учреждениями. К тому же дипломатическая сноровка, довольно сильно развитая в обоих лагерях, была совершенно чужда этому правдивому человеку, и никогда посторонние соображения о выгодах или необходимостях партии не затемняли его убеждений и не влияли на его приговоры. Одно из его смелых положений (и не самое важное), именно пророчество о скором появлении на Руси *нового слова,* которое выведет будто бы литературу и общество наше на настоящую дорогу, где они и найдут разрешение многих своих вопросов и недоумений, было поднято петербургскими оппонентами его и послужило зерном полемики, продолжавшейся довольно долгое время[6]. В *новом слове* Ап. Григорьева западники Петербурга и Москвы усмотрели намек на деятельность кружка писателей, которые работали вместе с ним. Вся школа эта и преимущественно беллетристы ее заподозрены были в обскурантизме, задавшемся целью найти в народном и полународном быте элементы не одного драматического и литературного творчества, но и философии и правильного понимания нравственных начал. Это было недоразумение, за которое поломалось, однако же, немало копий с обеих сторон. Конец этому недоразумению положили на петербургской почве

два человека, именно: только что вернувшийся тогда из-за границы (1850) И. С. Тургенев и недавно еще появившийся на литературной арене А. В. Дружинин. Оба они, как люди, воспитанные на образцах искусства, тотчас же распознали, сколько мастерства выказывает Островский в создании своих типов и в изложении драматической интриги, сколько произведения Писемского обнаруживают непосредственной силы таланта и сколько критики Ап. Григорьева заключают в себе проблесков независимой мысли и страстной потребности всегда найти последнее слово и выражение для точного определения предмета критики[7]. Закрывать глаза на качества и деятельность подобных людей, руководясь одними побочными соображениями, подозрениями и неблагожелательством к их предполагаемым симпатиям, показалось обоим петербургским критикам вопиющей неправдою. Дружинин завязал от своего имени и не спросясь редакции журнала, где участвовал («Современник» – «Письма иногороднего подписчика»), дружеские сношения с народившимся кружком, за что и получил ранние симпатии его и прозвище «честного рыцаря»; Тургенев явился в 1852 году в «Современнике» со статьей о «Бедной невесте» Островского, где еще осторожно, но уже достаточно ясно, выразил свое сочувствие к автору пьесы, находя в ней много драматической правды и поэзии, наряду с ловкостью и исканием сценического эффекта[8]. Может быть, симпатии литераторов петербургской окраски к их московским собратам получили бы еще большее развитие, если бы им не мешали сами редакции журналов по закоренелой их привычке к полемике с партией, в которой теперь думали видеть прислужницу наступивших тяжелых порядков времени. «Отечественные записки», например, долее всех упорствовали в мнении, что А. Н. Островский служит представителем ретроградных направлений, прикрывающихся именем «народа», а Ап. Григорьев исполняет незавидную роль панегириста византийских созерцаний. Один из редакторов самого «Современника», Панаев, еще говорил по поводу направления, принятого Тургеневым: «Надо сдерживать Ивана Сергеевича, а то его московским прославлениям не будет меры и конца», да он же, Панаев, принял на себя после устраненного Дружинина (1851) и редакцию журнального фельетона, сняв с него эклектический характер, сообщенный ему прежним составителем. Как бы то ни было, но лед был поломан; путь для сближения между передовыми людьми эпохи найден, и Писемский мог в следующем, 1853 году переселиться в Петербург с полным убеждением, что он найдет там друзей и искреннее благорасположение, в чем и не ошибся.

Трудно себе и представить более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не принарядился морально, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная с своего костромского акцента («Кабинет Панаева поражает меня великолепием», – говорил он после свиданья с щеголеватым редактором «Современника») и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.

Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то *диковинки* посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе. Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с ученьями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непререкаемых догматов цивилизации. Так, учение, исповедуемое почти единогласно развитыми людьми всех оттенков Петербурга, о правах жены и женщины на полную свободу, в которой им отказывает еще современное общество, нашло в нем очень оригинального скептика. Помню изумление в кругу петербургских гуманистов, возбужденное его мнением, что женщина составляет только подробность в жизни мужчины и сама по себе, взятая единолично, не имеет значения, что обязанности мужа к жене исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее и что серьезные отношения между ними наступают только с появлением детей, а совсем не с появления

так называемой любви, о которой так много говорят поэты и романисты. Но это мнение было только началом тех сюрпризов, которые Писемский готовил своим слушателям.

Писемский, например, добродушно признавался им, что испытывает род органического отвращения к иностранцам, которого победить в себе не может. «Присутствие иностранца, – говорил Писемский, – действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его». Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думных людей Московского царства? Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней, полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кой-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной нравственной черты в характере человека, который за ним и остается навсегда, и наконец слово, часто окрашенное циническим оттенком, сближало его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют «parfum de terroir» (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге.

Несмотря на духовное родство с народом, Писемский не был, как и товарищи его, о чем уже сказали, славянофилом. Он вывез только и сберег в Петербурге гордость своим происхождением, в нравственном смысле, от Москвы и затем чрезмерное хвастовство ею, что было ему обще со всеми москвичами. Москву же он любил совсем не за ее святыни, не за исторические воспоминания, с нею связанные, и громкое, всесветное имя, ею носимое, о чем никогда и не упоминал, а скорее за то, что там не принимали

органические проявления страсти и жизненной энергии за распутство, не обзывали преступлением всякое уклонение от полицейского порядка и что в городе, где по временам скоплялась целая многотысячная армия из одних мужиков и разночинцев со всех концов империи, труднее было блюсти за чистотой нравов по уставам благочиния. Петербург казался Писемскому созданным на то, чтобы показать, сколько может быть безжизненности в порядке и возмутительных явлений под покровом чинности и стройности. Прочитав в записках Берхгольца о пирах в несколько суток без отдыха, даваемых основателем столицы, о курантах, заведенных им на башнях и в известные часы дня игравших на весь город свои мелодии, Писемский заметил: «Петру I это было совершенно необходимо для того, чтобы подданные его не померли все со скуки в новом городе»[9]. Напрасно старались друзья Писемского растолковать ему значение Петербурга по-своему. Молча выслушивал он их размышления о том, что город этот предназначен исправлять народные увлеченья, мешать развитию исключительного поклонения своему племени, что останавливает ход истории, проверять наукой и опытом смутные идеалы народных масс и проч. и проч. Писемский отвечал большей частью на эти заметки шуточками вроде следующей: «Может быть, и точно, – говорил он, – что Петербург хороший педагог, но я всегда ненавидел своих педагогов, хотя и боялся их смертельно».

Вообще осторожность, с какой Писемский держался в стороне от теоретических и философских разговоров, когда они завязывались перед ним, показывала, что отвлеченные идеи не имели в нем ни своего ученика, ни своего поклонника. Это подтверждалось и фактически многими проявлениями его анализирующего ума. Писемский удерживал, например, легко заметки и мысли, способные мирно уживаться с насущным умственным содержанием русского человека, и тотчас забывал о тех из них, которые служили, так сказать, светочами для общечеловеческого развития. Вообще он никогда не мог усвоить себе хорошенько представления об этом общечеловеческом развитии, – малопонятном, по его мнению, без указания на какой-либо народ, целиком воплотивший его в себя, без примеси национальных пороков и особенностей, если такой народ еще найдется на свете! Сколько споров по одному этому вопросу происходило тогда! Людей сороковых годов, так много говоривших об общечеловеческом развитии, Писемский весьма уважал как двигателей общества, что и заявил во многих местах своих сочинений и даже в целом романе, но он был решительным противником их идеализма. Да и как бы он принял их учение о

единой вселенской морали, обязательной для всех народов, достигших известной степени цивилизации, когда, в противность их убеждениям, он любил слабости, недостатки, даже дурные природные наклонности своего племени, носил следы их в самом себе и, понимая их вполне, нисколько не раскаивался в них и всего менее думал об их исправлении?

Прежде всего Писемский был нервным человеком в высшей степени и состоял под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу. В нем не оказалось ни малейших признаков дисциплины над собой. Он допустил развиться в себе одной психической черте до болезненности – мы говорим о его нервной трусливости перед внешним миром. Он боялся толпы на улице, недоверчиво смотрел на всякое новое явление, вносимое в жизнь прикладными науками и, например, при открытии железных дорог, никогда не ездил на курьерских поездах, говоря, что они устроены для бешеных людей, не знающих, куда девать излишек животной своей жизни. Его тревожили явления и события, возникшие даже на очень дальних пунктах от места его пребывания, хотя он и не мог сказать сам, в чём состоит тут опасность для него. Спасительницей Писемского во всех этих проявлениях фантазии была его жена, Екатерина Павловна. Эта примерная женщина умела успокоить его болезненную мнительность и освободила его не только от забот по хозяйству и воспитанию детей, но, что важнее, – освободила его и от своего вмешательства в его личную, интимную жизнь, тоже исполненную капризов и порывов; она же и переписала на свой век по крайней мере две трети всех его сочинений с черновых оригиналов, представлявших всегда страшно запачканную макулатуру из кривых строчек, крупных каракуль и чернильных пятен. Известный наш рассказчик И. Ф. Горбунов недавно напечатал очень живое описание *морского путешествия* (!), совершенного Писемским из Петербурга в Кронштадт по приглашению генерал-адмирала, желавшего слышать нашего автора в препрославленном чтении его своих произведений[10].

Выбор пал на «Плотничью артель» Писемского, только что написанную (1855). Восточная война была тогда в полном разгаре, и соединенный флот западных держав стоял у Кронштадта, где находился и генерал-адмирал. Писемский предварительно пожелал осмотреть на Неве казенный пароход, который должен был перевезти его через *страшные невские пучины* и передать на адмиральский фрегат. Во все время этого плавания, летом и при хорошей погоде, он постоянно ожидал беды с какой-либо стороны, а на адмиральском фрегате с ужасом

смотрел на его батареи и не смел близко подойти к ним, поглядывая только на них издали, словно они могли грянуть и сами собой[11]. Помню, как я с непривычки был озадачен, когда однажды при начале нашего знакомства, возвращаясь с Писемским довольно поздно ночью с вечера, проведенного у друзей, услыхал от него необычайный вопрос: «Скажите, вам никогда не случалось думать, подъезжая к своему дому, что без вас там могло произойти большое несчастие?» Не знаю, что я отвечал ему, но Писемский прибавил доверчиво: «Мне часто случается стоять у порога моей двери с замиранием сердца: что, если дом ограблен, кто-нибудь умер, пожар сделался, – ведь все может случиться». По голосу его слышно было, что он говорил серьезно.

Тогдашняя жизнь Писемского в Петербурге близко подходила к жизни литературного пролетария, который принужден беспрестанно считаться со своими средствами. Дом его содержался в большом порядке благодаря хозяйке; но выдающаяся простота обстановки показывала, что экономия была тут не делом вкуса, а необходимости. Писемский переносил стеснения далеко не спокойно; он досадовал на свою бедность и искал средств выйти из нее, за чем, собственно, и явился в Петербург. На первых порах он даже определился на службу в один из петербургских департаментов (в удел, кажется), и любопытно, что позднее, когда покинул его (а случилось это очень скоро), Писемский указывал на одно чиновное лицо, покровительствовавшее ему, со словами: «Никогда не прощу этому человеку того, что я старался понравиться ему и выказать себя умницей». В 1856 году он принял поручение от морского министерства ехать в Астрахань для собирания этнографических данных и описания края[12]. Вернувшись из поездки, он принялся опять за чисто литературные работы и не мог победить жалобы на малые, сравнительно, материальные результаты, какие они приносили. Он выражал громко свое негодование на обстоятельства, которые делают настоящего производителя ценностей подчиненным лицом собирателя их и торговца ими. Не стесняясь, он в глаза говорил издателям журналов и сборников, что их благосостояние зиждется на эксплуатации и бедности их сотрудников и вкладчиков.

Никто не сердился на него за эти слова, во-первых, потому, что их произносил весьма нужный человек, а во-вторых, потому, что, в сущности, это были безобидные слова, не способные изменить обычаев литературного рынка. Но и для Писемского наступил день, когда он почувствовал, что жизненная его работа не пропала задаром. В 1861 году один из предпринимателей в

Петербурге (Стелловский) купил у него право на издание всех его дотоле появившихся сочинений за 8 тыс. руб., – сумму, немаловажную по тому времени[13]. С этим обстоятельством, давшим Писемскому возможность почувствовать себя самостоятельным писателем, имеющим свою цену на литературной бирже, связывается еще довольно характерный анекдот, рассказанный самим героем его. После долгих и серьезных прений с своим издателем, согласившись на его условия и получив крупный задаток, Писемскому вздумалось тотчас же и попробовать себя в роли капиталиста. Он отправился в одно из пышных публичных заведений столицы, где богатые люди мотают свою жизнь и состояние и мимо которого он обыкновенно проходил, с любопытством посматривая на его двери. Теперь он шумно раскрыл их и, как власть имущий, гордо вступил в недоступные прежде чертоги, но, встретив там нечеловеческое подобострастие, звериную алчность к деньгам, тотчас же и очнулся. Готовность служить всем его капризам отрезвила его лучше всякой проповеди и вместо поощрения к издержкам погнала его вон, к себе домой… Анекдот хорошо рисует соединение сильного практического смысла с детской наивностью и фантастическими порывами, которые составляли сущность характера этого человека.

В Петербурге Писемский близко сошелся с другим замечательным человеком этой переходной эпохи и своим антиподом по духу и внутреннему содержанию, с А. В. Дружининым, который тогда же (1857 год) принял на себя редакцию обездоленного журнала «Библиотека для чтения» и через год пригласил к себе в соредакторы нашего автора, почувствовав, что злая болезнь (чахотка) одолевает его и низводит в могилу.

А. В. Дружинин тоже принадлежал к фаланге наших писателей, которая в трудное время не выпускала из рук знамя литературы и отстояла ее право на голос и участие в развитии общества, несмотря на опасности, неприятности и унижения, сопряженные с исполнением этой задачи. Позднейший переводчик Шекспира, Дружинин рано показал себя знатоком европейских литератур и преимущественно английской. Он близко подходил к типу английских *эссеистов* и, подобно своим первообразам, обнаруживал в статьях большую степенность суждений и отвращение от всякого резкого приговора, а еще более от всякого своеволия в творчестве, со стороны авторов. Суровым моралистом он никогда не был, что доказывается и оставшимися после него юмористическими произведениями довольно нецеремонного характера; но *консервативный* оттенок,

который носила его мысль, мешал ей, несмотря на всю ее обработку обширным чтением иностранных литератур, узнавать иногда весьма жизненные явления современной эпохи[14]. Писал он много, легко и скоро, думал, что пишет для высококультурной, развитой публики, на признательность которой уже может рассчитывать. Может быть, в этом и кроется именно причина постигшего его несправедливого забвения: он был слишком вельможен, так сказать, для массы русских читателей, из брезгливости никогда не спускался до мелочных явлений литературы и не обнаруживал никакой страсти в защите и пропаганде своих собственных воззрений. Будучи по характеру и по воспитанию в одном военно-учебном заведении (пажеском корпусе) светским писателем по преимуществу, Дружинин относился также очень равнодушно и иронически к кабинетным трудам русских ученых и к задачам, которые они ставят себе, в чем и походил на старого своего приятеля Сенковского, которого, между прочим сказать, очень уважал. Все это приобрело ему нерасположение многих московских кружков, но не помешало кабинету Дружинина в Петербурге сделаться центром почти всего литературного персонала обеих столиц и видеть в числе своих посетителей журналистов, критиков, писателей и драматургов самого разнородного направления. Кроме общей потребности у тогдашних литераторов жить в единении друг с другом, ввиду многочисленных своих домашних и посторонних врагов, о чем сейчас будем говорить, существовала еще и другая причина для этого явления. Обширная начитанность Дружинина в западной беллетристике позволяла наводить у него все нужные справки и давать веру аналогиям, которые он любил проводить между произведениями различных стран, а затем он обладал еще и другим неоцененным качеством – убеждением в честности нашего общества и великого труда, ему посвященного. Оно мирило с ним и тех, которые не признавали служения светской публике делом, заслуживающим особенного уважения. Но мирное настроение людей, собиравшихся у Дружинина, приходило уже к концу. Все их качества, а также и качества хозяина, вскоре осуждены были выдержать тяжелый искус и решительную пробу. С половины пятидесятых годов начали появляться ясные признаки переворота в мнениях, возвещавшего конец переходной эпохи и наступление нового литературного периода. Первой посылкой этого нового направления с идеями, накопившимися в его недрах, являлись новые понятия, философско-общественные; затем явилась постановка совсем иных целей и задач, как для творчества, так и для критики его, чем те, которые занимали умы доселе. Случилось так, что новые требования, для борьбы с которыми не

много было всех сил опытного редактора, застали Дружинина на одре болезни, изнемогающего под ударами тяжелого своего недуга. Журнал «Библиотека для чтения», поднятый им из праха, в котором он долго влачился после Сенковского, был передан им своему товарищу, и Писемский, таким образом, очутился на давно желанной публицистической арене самостоятельным редактором журнала, и притом в самую критическую минуту для литературы и общества вообще. Что из этого вышло, скажем сейчас[15].

Но прежде позволим себе бросить беглый взгляд на самую сцену, где происходило действие, и на публику, которая была его свидетельницей.

II

До 1860 года литературная и журнальная арена наша представляла, в полном смысле слова, праздничное зрелище. Известно, что с 1856 года некоторое ослабление цензуры, произведенное совсем не законом, который стоял еще во всем угрожающем положении своем, а смягченной практикой его уставов, открыло новую эру в печати нашей. На литературной арене явились не только все писатели по профессии, желавшие воспользоваться умственным простором, который мог столь же неожиданно кончиться, как неожиданно и наступил, но явились люди, дотоле сохранявшие абсолютное молчание и которые торопились теперь тоже сказать свое слово, чтобы не отставать от других. Само собою разумеется, что возник большой говор, который принимался за знак развития; но речей, созидающих направление и управляющих умами, тогда еще не было слышно. Все речи походили одна на другую и велись на какую-то одну большую тему о будущем скором возрождении нашем, но они отличались развязностью своих приемов и свободой выражения, которые придавали им вид самостоятельности и смелости мысли. Журнальный мир находился в замиренном положении, за исключением, разумеется, домашних счетов одних редакций с другими; но затем журналы не разнились ни по характеру, ни по направлению между собою, стараясь одинаково следовать за общим движением и не отставать от него в либеральном, радостном и доверчивом настроении. Всякое заявление, из какого бы источника ни выходило, могло надеяться на благосклонное внимание, как только являлось под знаменем прогрессивного направления, которое оказывалось потом у очень многих и фальшивым знаменем.

Мы не пишем здесь истории нашего развития за последнее время, которая была бы и преждевременна, а только сообщаем для нее факты, сохранившиеся в нашей памяти, и то далеко не все и без подробностей, на какие бы они имели право[16].

Лучшим доказательством того, что никто в это время не различал еще своих друзей от будущих противников, служит смешение направлений, царствовавшее в органах публицистики. Все жили в куче. Люди, придерживавшиеся старых, укоренившихся воззрений на искусство, нравственные вопросы и задачи общественного развития, встречались в периодических изданиях с людьми, искавшими уже других точек зрения на те же самые предметы. Происходили споры, но все мнения казались нужными, и ни одно не ставилось вне закона, hors loi, как было

позднее. Последний, 1859, год переходной эпохи представил наглядный пример близкого соседства разнородных течений мысли. Начало года украсилось, например, в «Современнике» романом Тургенева «Дворянское гнездо» – этим патетическим гимном, посланным вслед уходящему поколению; а вторая половина года ознаменовалась в том же журнале знаменитой статьей Добролюбова «Темное царство» (по поводу сочинений А. Н. Островского), которая упразднила поклонение всем старым идеалам и с которой, собственно, начинается у нас понимание поэзии и искусства как непосредственных политических и общественных факторов, определяющих и ценность произведений[17]. Мы уже говорили о пестроте общества, собиравшегося у Дружинина; но точно такая же пестрота убеждений и взглядов существовала и везде, в журналах, частных домах и публичных сходках. Она не нарушала установившихся отношений между людьми. Главный редактор «Отечественных записок», покойный Дудышкин, не прерывал старых дружеских связей с редакторами «Современника», в то время как встречал жестким отпором эстетико-философские взгляды журнала. Разница основ не изменяла привычек, нажитых прежде. Тот же Дудышкин, бывший, между прочим, постоянным противником новых теорий изящного и защищавший чистоту эстетического догмата от примеси к нему идей утилитаризма с упорством и выдержкой истого янсениста, на которого многими сторонами своего ума и характера отчасти и походил, – предоставлял страницы своего журнала далеко не фанатикам чистого искусства и вел полемику с собратами всегда на основании политических соображений о нуждах общества и настоящей минуты. «Русский вестник», явившийся в 1856 году, принадлежал еще тогда к наиболее ярким органам прогрессивной воинствующей журналистики и не усумнился напечатать роман Тургенева, озаглавленный «Накануне» (1860), который противоречил, как скоро оказалось, настоящему образу мыслей редакции всем тоном и содержанием своим. Первый досужий библиограф, который вздумал бы заняться перечетом всех этих маленьких аномалий времени, вовсе и не замечаемых им, мог бы привести гораздо более примеров подобного смешения языков в тогдашней литературе, чем мы сделали это. Достаточно упомянуть, что любой из наших писателей мог пройти тогда через всю гамму журналов, побывать во всех редакциях без вреда и ущерба для нравственной своей физиономии. С 1860 года все это кончилось, и если подобные примеры еще являлись, то уже как исключения, а не как общее правило. Сплоченные некогда ряды деятелей разорвались. Между теми, которые приняли новое направление за

программу своей жизни и деятельности, и другими, которые не хотели за ним следовать, ввиду недоказанности его доктрин, все более и более рос разлад, без возможности наполнить его какими-либо общими интересами, вроде борьбы с дурными условиями времени и проч. Оказалась полная невозможность существования под одним знаменем таких стремлений и тенденций, которые расходились друг с другом, как только чуть-чуть удалялись от элементарных оснований каждого вопроса и учения. Широкие девизы вроде служения народному образованию, принципам разумного общежития и так далее потеряли свое обаяние и не собирали более толпы поклонников. Требовалось теперь нечто другое. Каждый выступающий на литературную арену обязан был определенно и точно изложить всю систему верований и защищать ее с оружием в руках, как старые рыцари защищали некогда излюбленные свои цвета. Наружная благовидность, добываемая с помощию безразличного либерализма, уже не принималась в расчет. Всякая примесь идей, захваченных со стороны и по соседству и затемняющих истинное настроение и настоящий образ мыслей человека, преследовалась новым направлением как обман. Особому негодованию его подвергались все полуубеждения, все слабое и нетвердое в мнениях, все, что искало компромиссов и сделок в области идей и теорий. Оно добивалось или согласия на совместную с ним работу отыскания новых начал для жизни, или на решительный переход к учениям, опутанным сетью исторических преданий. Со стороны Писемского выбор не представлял сомнения и еще облегчался примерами, которые тогда же явились как необходимое следствие вызова, брошенного прогрессивной доктриной. Литературное общество, а за ним и весь культурный люд разделились у нас на две серьезные партии – консервативную и либеральную, получившие в дальнейшем своем развитии оттенки и особенности, которые уже не имеют ничего общего с историей их прошлого, здесь рассказанной[18]. Писемский впервые открыл серию чисто охранительных петербургских органов, с различными оттенками, начиная славянофильским и кончая олигархическим («Время», «Эхо», «Весть»), которые не замедлили появиться вскоре после того.

Жилось тогда вообще чрезвычайно тревожно и скоро. Каждый день приносил новые впечатления; ждали важных событий со всех сторон: слухи и толки о новых мерах правительства перекрещивались с их пояснениями в журналах, которые были часто не менее замечательны, чем и самые обсуждаемые предначертания. Литература и публицистика поминутно раздражали требованиями своими как верующих в силу их слова,

так и неверующих в нее. Общественный пульс бился сильно. Ни одна из вестей, волновавших людей того времени, не производила, однако, такого впечатления, как весть об эмансипации крестьян. С 1858 года вопрос был уже официально поставлен на очередь. Понимание его Писемским заслуживает внимания, ибо он тогда уже угадывал, по практическому своему уму, многие стороны его, обнаружившиеся только впоследствии.

Писемский был издавна сторонником разрешения тех уз, которые некогда наложены были на народ с целью отделаться от забот и попечений о нем. Иначе он и не мог думать, будучи сам хотя из старого, но захудалого с течением времени дворянского рода, жившего долгое время одной жизнью с селом и деревней. Но в своем сочувствии к освободительным мерам правительства Писемский сохранял еще, как и везде, оригинальную и самостоятельную черту. Так, он не оказывал ни малейшего признака сантиментальных отношений к народу, какие окрашивали тогда все беседы о предстоящей реформе. Писемский был совершенно свободен от розовых надежд, которые возлагались на освобождение крестьянского населения, не доверял обещаниям множества благ, имеющих произойти от одного «свободного» труда, и не приходил в восторг при мысли, что с эмансипацией прибывает на Руси несколько миллионов полноправных граждан и собственников. На все подобные заявления Писемский смотрел как на ораторские приемы или как на излияния благородного душевного настроения и признавал их весьма полезными ввиду воспитания и приготовления умов к реформе, но сам относился к ней чрезвычайно просто. «Освобождение» казалось ему необходимостью для страны потому, собственно, что оно – освобождение – и дает способ каждому найти свой образ и превратиться из старой, бесформенной *души* в определенную личность, Но затем он отказывался верить, что вместе с освобождением должна непременно наступить и эра *обновления* народа, что с освобождением народ покинет некоторые бытовые привычки, возмущающие нравственное чувство, изменит прирожденные свои наклонности и поправит свои представления о порядке и образе жизни согласно с новыми условиями существования, в которые поставлен. Странно было слушать разрушение всех подобных иллюзий со стороны человека, который по своему характеру и своим симпатиям сам был из народа. Он представил нечто вроде иллюстрации к своим положениям в сценах из народного быта, изображенных его романом «Взбаламученное море», написанным после того, как великий акт освобождения уже сделался законом страны (1863). Так же точно и при первых слухах о реформе

судебных учреждений и вводе в них института всесословных присяжных, практический смысл, нажитой им в провинции, подсказывал ему опасения и скептические заметки. Писемский пророчил, что присяжные из крестьян будут отличаться поразительной снисходительностью к самым тяжким преступлениям, потому что каждый из них заранее будет состоять под гнетом убеждения, что он лично может попасть завтра же, при стечении несчастных обстоятельств, на скамью обвиняемых и по тому же самому преступлению, какое призван теперь судить. Взамен он утверждал, что нигде не окажется столько жестокости и неумолимости, как при домашних расправах крестьян в волостных и сельских трибуналах. Тут у русского мужика, по его мнению, замешаются личные интересы и страсти, да наконец у себя дома он дозволит делать с собою и ближними гораздо более того, чего так страшится от полиции, наезжего чиновника и постороннего общине лица. Многие из тех, которые выслушивали подобные мнения от Писемского, принимали слова его за диффамацию народной сущности, за клевету скрытного крепостника, но заподозрить Писемского в привязанности к крепостным порядкам не было никакой возможности, и приходилось, таким образом, искать основ для его заметок где-нибудь глубже.

Источники их крылись в органическом недоверии Писемского к воспитательному характеру политико-экономических, финансовых, хозяйственных и других научно-государственных мер без совместного участия с ними живого нравственного авторитета. Он утверждал публично в 1861 году, что новое выработанное «Положение» о крестьянах предстанет перед ними не в виде нравственного дела по преимуществу, а в виде фискального или наподобие решения первой инстанции суда по давней имущественной тяжбе их с помещиками. Тягаться можно будет и после того, в других инстанциях. Но для раскрытия морального смысла «Положения» необходимо, чтобы оно отразилось этой стороной своей на живых примерах. Народ верит только тому, что видит сам или думает видеть перед собою: если нет чудес, то необходим пример. Писемскому казалось, что без сильных «нравственных авторитетов» народ не расстанется ни с одним из тех свойств, которые получил в период рабства и чиновничьих притеснений, а только приноровится к новым учреждениям и в их рамках разовьет еще с большей энергией дурное нравственное наследство, полученное им от прошлого. Он не придавал особенного значения и будущему развитию благосостояния освобожденных, на которое многие рассчитывали как на сильный нравственный двигатель: жизненный опыт привел

его к заключению, что богатство и нажива могут быть родоначальниками еще больших пороков и безобразий, чем сама скудость, которая считается их матерью. Откуда явятся люди для предполагаемой им миссии, Писемский не знал. Он не мог сказать, придут ли они со стороны самого народа, или вышлет их наше духовенство; явятся ли они из земства, или создаст их та часть либеральной бюрократии нашей, заслуги которой по борьбе с сословными предрассудками и с эгоизмом различных классов общества он всегда признавал и высоко ценил. Писемский пророчил только, что пройдут еще многие и долгие годы, прежде чем «освобождение» даст все те результаты, каких ожидают от него теперь же слишком нетерпеливые публицисты и патриоты. С таким-то багажом предвзятых мыслей Писемский и выступил в качестве консерватора перед литературой и публикой, настроенными совсем иначе.

Появление при «Современнике» сатирического листка «Свисток» (1860) произвело на возбужденное наше общество гораздо более сильное впечатление, чем можно было ожидать от шутки. Листок показался победой над цензурой и чопорным обществом, жившим под ее прикрытием, он отличался, между прочим, веселостью и большим остроумием и довершал начавшийся ранее разбор репутаций и авторитетов, но другими способами – насмешкой, пародией, сарказмом, которыми владел чрезвычайно ловко[19]. Примеру «Свистка» последовали даже и большие газеты, и серьезные журналы в своих фельетонах, отчетах о книгах, библиографических заметках, – завязалась игра именами, лицами, трудами их, игра, хорошо знакомая западным литературам, где она теряется в целом движении, но еще редкая у нас и тогда производившая впечатление. Против этой своеобразной свободы слова, почерпающей в самих излишествах своих право на безответственность, Писемский только и восстал в своем журнале. И понятно почему.

Для того, чтобы бороться с основами нового литературного направления, с его доктринами, которым журнальный памфлет служил только застрельщиком, требовалась уже большая подготовка, требовалась сила мышления и знания, каких журналу Писемского и его сотрудникам вовсе недоставало, как оказалось при первой же их попытке определить деятельность направления. Оно приобрело жарких поклонников, пустило от себя корни во все стороны, укрепилось в мысли и совести людей. Писемский остановился на второстепенных, случайных, эфемерных его явлениях и с ними завязал дело, употребив и оружие противников. Он открыл при своем журнале серию бесцеремонных фельетонов, которые сам составлял, прикрываясь

ническим псевдонимом «Никита Безрылов», никого, впрочем, не обманывавшим и тогда.

Весь 1861 год прошел в единоборстве с «Петербургскими ведомостями», «Северной пчелой», «Искрой». Говорить о большей или меньшей степени остроумия, полемической ловкости, меткости заметок тут не приходится[20]. Дело сводилось обеими сторонами просто на количество обид и злобных внушений, какие каждая из них могла выкинуть на свет. Достоинство и мастерство употребления этих снарядов было равное здесь и там. Никита Безрылов усмотрел в противниках легкомысленные претензии овладеть литературой с помощью терроризации писателей, злобно смеялся над неразборчивостью средств, употребляемых ими для поддержки своего властолюбия, не оправдываемого ни талантом, ни познаниями, обличал комическую несостоятельность многих их мнений и приговоров. Уже тогда можно было предусмотреть, однако же, что борьба эта не кончится торжеством и победой для Писемского, как действительно и случилось. Нельзя же было в одно время думать о художнических созданиях и точить перо на ненавистную брань. Нужен был человек гораздо более выносливого, закаленного характера, чем Писемский, для того чтобы стоять хладнокровно под дождем изливаемого на него каждодневно позора, мечтая об отомщении, или во имя своих убеждений продолжать распрю, когда она перешла уже и за пределы литературы. В записке, доставленной нам уже после смерти Писемского и составляющей как бы продолжение его недописанной, коротенькой автобиографии, говорится о побочных средствах, к каким прибегали враги его. Последним ударом раздраженной партии, возмущенной смелостью человека, впервые заговорившего о ней, был вызов на дуэль, посланный Писемскому из редакции одного юмористического листка. Не предвидя конца подобным внелитературным мерам, ошеломленный и преследуемый в один голос тогдашними органами -общественного мнения в Петербурге, Писемский впал в то состояние изнеможения, нервного упадка сил, какое находило на него при всяких крупных неудачах жизни. Он отказался от редакции «Библиотеки для чтения», а вслед за тем принял и другое решение: разорвав, за немногими исключениями, все связи с Петербургом (тогда же он отказался и от участия в делах литературного фонда), он со всей семьей переселился на постоянное житье в Москву. Это было уже в начале 1862 года[21].

Роман «Взбаламученное море», о котором сейчас упоминали, начатый еще в Петербурге, появился на страницах «Русского вестника» в следующем, 1863 году, когда автор его уже совсем

устроился на новом своем местожительстве. Роману этому предшествовал другой роман, гораздо более замечательный и другого автора – именно «Отцы и дети» Тургенева, нашедший себе место тоже в «Русском вестнике» годом ранее (1862). Оба романа имели в виду изображение одной и той же эпохи; но Тургенев подошел к своей задаче в оружии художника-психолога, много думавшего о времени, которое выбрал для картины, и позаботился раскрыть физиологические и моральные основы всех действующих на ней лиц. Он нашел для них типические черты и снял с физиономий их всякое выражение чего-либо похожего на легкомыслие, наметив только следы нравственных болезней тех эпох, которым они служили представителями. Он сделал еще более, сообщив образцам беспощадного отрицания, выведенным им, оттенок мрачного величия, которое свойственно непоколебимым убеждениям и которое иногда заслоняет внутреннюю бедность их содержания. Он отнесся с таким же беспристрастием и к растерявшемуся старому поколению, которое донашивало свои прежние идеалы, тщетно стараясь защитить их от новых людей. Таким образом, создался известный шедевр русской и европейской литературы, принесший автору множество упреков и обвинений до тех пор, пока, с течением времени, не установился взгляд на него как на художественное изображение двух столкнувшихся на наших глазах общественных развитии с их героями, страстями и делами.

Ничего подобного, конечно, не заключал в себе роман Писемского «Взбаламученное море». В нем было много юмористического таланта, но мало создания. Довольно небрежно составленный, роман этот представил у нас первый опыт *полемического* романа, нашедший потом множество подражателей. Обыкновенное свойство всех полемических романов заключается в том, что они не занимаются историей возмущающих общественных явлений, берут их без корней и почвы, по одному наружному виду, и переносят в какое-то подобие потешного сада, разведенного только на один день праздника. Автор «Взбаламученного моря», всего более пораженный неурядицей, которую произвели в некоторых слоях общества плохо понятые ими литературные направления, отдал на публичный позор такие исключительные явления этого маленького и неразумного мира, что роман его составил просто коллекцию уродливостей эпохи, имея в виду передачу ее родовых отличий. Гораздо лучше удались автору изображения типов, оставленных крепостными порядками на поле проигранной ими недавней битвы. Эти умирающие чрезвычайно ярко выражали в последние минуты свои весь длинный безобразный путь,

пройденный ими до того. Повторяем, однако ж, что ни в одном из своих произведений Писемский не достигал такого пафоса, такого ядовитого юмора, такой горькой насмешки и цинической обрисовки характеров, как именно в этом романе. Он писался под влиянием гнева и раздражения и остался памятником полемической беллетристики, не превзойденным его подражателями. Оба романа, и Тургенева и Писемского, несмотря на неизмеримую разницу в их достоинстве и содержании, были одинаково знамениями поворота литературы к критическому пересмотру идей, господствовавших в обществе[22].

Вскоре после появления в печати своего романа Писемский поступил в редакцию журнала «Русский вестник» в качестве заведывающего беллетристическим его отделом. Петербургский период жизни закончился совершенно для нашего автора, что и позволяет нам оглянуться теперь назад и обозреть литературную его деятельность за это время. Она была в высшей степени плодотворна.

Весь этот период принадлежит к самой блестящей эпохе его производительности и сплошь наполнен совершеннейшими его созданиями, которые доставили автору их славу таланта, выходящего по силе и меткости изображений из ряда вон. Слава эта уже не умалилась впоследствии ни от злых критик, которым подверглась, ни от собственных менее удачных произведений автора, появившихся во вторую половину его жизни. После первых его опытов в Москве Петербург видел полный расцвет его таланта. Достаточно вспомнить, что в десятилетие его пребывания в Петербурге были написаны самые капитальные из его произведений: «Плотничья артель», «Старая барыня», «Батька», роман «Тысяча душ» и драма «Горькая судьбина»[23]. Остановимся только на двух последних, так как в них есть данные для подтверждения наших заметок о свойстве его настроения и созерцания вообще.

Роман «Тысяча душ» принадлежит к числу наиболее продуманных и наиболее обработанных созданий Писемского. Он поразил тщательностью своей постройки и иностранных критиков, познакомившихся с ним в переводах. Развитие интриги его и характера главного его героя, Калиновича, на котором вращается все действие романа, обнаруживает строгую художественную работу, чего так недостает некоторым из позднейших его произведений второго, московского периода. Писемский не скрыл недостатков Калиновича. Он показал в нем деспотическую натуру с привитыми к ней семенами культурных идей. Созревшие плоды этой прививки не замедлили отозваться свойствами дерева, на котором выросли. Калинович на первых же

порах оказывается способным распространять кругом себя, во имя прогресса, всеобщий плач и ужас, не заботясь, куда они приведут самое дело, предпринятое им в видах поправления нравов и укоренения добрых начал. Чем далее идет повествование, тем яснее становится, что Калинович – чиновник с учебным дипломом, пробивающийся сквозь табель о рангах в своего рода Петры Великие, – для того чтобы на последних ступенях карьеры кончить покаянием в заблуждениях молодости. Русское общество видело множество типов этого рода в своих недрах. Писемский не утаил и того обстоятельства, что людям этого характера необходимо для свободы действий обладать каким-либо видом *государственной* власти, чего они и добиваются всеми силами души, не пренебрегая никаким оружием, не отступая ни перед какими средствами, выводящими людей на видные места. Калинович не отказывается ни от одной, или плотской, или честолюбивой, похоти, преследует разные цели, одновременно живет в связи с любящей его актрисой и задумывает сделать богатую партию на стороне. Это в одно время сластолюбец, расчетливый карьерист и носитель просвещения! Несмотря на все эти черты, он сохраняет в романе Писемского вид непризнанного дельца и сильного характера, внушающего уважение; одно качество смывает его недостатки: Калинович высится в среде драмы как лицо, которое могло бы, при случае, высоко держать знамя государственного авторитета, если бы последнему грозила опасность, и за одно это предполагаемое в нем качество восстановляются его права на звание почетного героя романа и призываются к нему симпатии читателей. Такова мысль романа, близко передающая и убеждения его автора.

Не менее характерно и другое капитальное произведение Писемского – комедия «Горькая судьбина», которая развивается уже в деревне и на почве еще не упраздненного крепостного права. Скажем тотчас же, что, по нашему мнению, если когда-либо известная Уваровская премия за драматические сочинения отвечала своей цели и падала на произведение, глубоко затрогивающее русскую жизнь, то именно в тот раз, когда премия отдана была Писемскому за знаменитую его комедию, не потерявшую цены и от сравнения с самыми удачными и тоже много раз увенчанными произведениями А. Н. Островского[24].

Крепостной мир, в котором вращается комедия Писемского, уже настолько потрясен и подрыт в основах, что помещик села, где происходит действие, является нам человеком, страдающим отсутствием воли и признаками беспокойства совести при исполнении функций своего звания. В числе его подданных находится богатый мужик, очень умный и охотно резонирующий,

как обыкновенно бывает со сметливыми людьми, обязанными самим себе и относительным развитием и состоянием. Насколько ясен и доволен собой мужик, настолько спутан и неуверен в себе его помещик – и эта противуположность двух характеров очень метко определяет время возникновения драмы, накануне решения крестьянского вопроса. После долгого отсутствия из деревни расторговавшийся в столице мужик возвращается домой с подарками для любимой жены и с коробом известий о городских чудесах, им виденных. Он повествует о них степенно, без восторгов и без нахальства. Он в них нашелся, он ими воспользовался и ценит их особенно как новые способы добывать для деревни и семьи, о которых никогда не забывал, покой и благосостояние. Можно себе представить, что с ним происходит, когда после своих расспросов он узнает страшную весть, что в его отсутствие любимая жена, при посредстве бурмистра, вступила в добровольную любовную связь с барином и принесла к нему в дом чужого, прижитого ею ребенка. Этот степенный мужик оказывается совершенно беспомощным в минуты страсти, не способным владеть собою, не обладающим никаким нравственным началом, которое могло бы прийти на помощь его честной природе вообще. С первых слов исповеди он превращается в лютого зверя и расправляется с виновной женой, как мог бы сделать первый кабачный проходимец, то есть избивает ее до полусмерти. Но, совершив этот обычный акт крестьянского суда, он скоро одумывается, что и дает автору случай создать высокодраматическую и трогательную сцену, которая составляет дорогой перл самой комедии. Свирепый палач жены чувствует, после первого взрыва бешенства, потребность примирения и прощения взаимных обид. Его благородная, в сущности, натура, хотя и ничем не укрепленная для победы над животными инстинктами, одерживает тут на мгновение верх и проявляется во всей своей правде. В сдержанном тоне речи, какой подобает главе семейства, он приглашает недавнюю жертву свою разделить с ним за самоваром супружескую беседу, забыть все случившееся, восстановить свое доброе имя раскаянием и возвращением к прежним порядкам жизни. В словах его звучит мольба и надежда. Согласие принять предложение составляет для него, видимо, залог восстановления мира и возможности принять меры для будущего образа жизни между людьми. Надо было слышать эту сцену в чтении самого Писемского, чтобы понять, сколько в прерывистых фразах несчастного мужа заключается тайного сожаления о преступнице и моления об отпущении вины ему самому. На этот призыв обезумевшая женщина, еще под влиянием испытанных ею побоев, отвечает признанием в любви к

барину и угрозой уйти к нему вместе с ребенком. Чаша была переполнена; сознание совсем покидает бедного мужа и отдает его во власть слепому порыву злобы и мести. Он бросается к жене, убивает ее ребенка и убегает затем, чтобы снова явиться на место преступления и отдать себя во власть сельской полиции. Он мирится со своей участью, никого не обвиняет и прощает жену. Известно, что Писемский вывел на сцену и самое следствие по этому делу, в котором принимает участие молодой губернаторский чиновник. Разноголосица между членами этого ареопага еще показывает, что и старый судебный институт, как и крепостной быт, находились тогда в полном разброде и анархии, ожидая своего обновления. Между прочим, гуманный помещик деревни, который был первой причиной преступления и возникшей драмы, негодует у Писемского на общественные порядки, мешающие ему разделаться благородным образом с оскорбленным мужем, предложив ему честную дуэль. Черта очень тонкая и характерная для времени, хотя она и брошена автором вскользь. Такова эта превосходная комедия, которой суждено еще долго волновать со сцены зрителей, как это делает она теперь при всяком представлении.

Здесь кстати поместить некоторые подробности, с нею связанные: основа ее не была выдумана художником. Писемский встретился с подобным происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он имел в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, принимал участие в его разборе сам. Комедия писалась им летом на даче, близ Петербурга, и случилось, что однажды автор ее встретился на прогулке с актером Мартыновым. Он зазвал его к себе в дом и прочел ему первые три действия ее, тогда написанные. Знаменитый артист пришел в восторг от них и изумил Писемского, выразив намерение взять роль мужа, когда пьеса поступит на сцену. Тогда еще никто не мог угадать в Мартынове призвания на драматические роли, и Писемский выразил свое сомнение; но великий комик настоятельно требовал предоставления ему роли Анания. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было показать в других и менее значительных ролях присутствие в себе патетического элемента, которым обладает всякий истинный комик. В заключение Мартынов спросил: «А как ты намерен окончить пьесу?» Писемский отвечал: «По моему плану, Ананий должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра». – «Нет, это нехорошо, – возразил Мартынов, – ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить».

Писемский был поражен верностью этой мысли и буквально последовал ей. Так хорошо угадал знаменитый артист сущность пьесы, прозрев законный, необходимый исход ее чутьем истины, присущим всякому истинному таланту[25].

III

Переехав в Москву, Писемский скоро приобрел качества, отличающие большинство ее обитателей, то есть наклонность к домовитости, с одной стороны, и к скептицизму по отношению к петербургским мнениям вообще – с другой. Правда, скептицизм последнего рода сказывался у Писемского и прежде, как видели, но журнальная буря, выдержанная им в Петербурге, еще укрепила его. Петербургская неудача наложила печать на весь строй его мыслей, на добрую часть всей последующей его деятельности. С нее именно начинается то *памфлетическое* направление, которое принял Писемский в позднейших своих произведениях. Оно составило господствующую ноту его творчества, за исключением, впрочем, двух произведений: романа «Люди сороковых годов» (1869) и другого, предсмертного, так сказать, романа «Масоны» (1880), которые от него совершенно свободны благодаря близкому личному знакомству автора с живыми типами, в них изображенными. Памфлетическое отношение к сюжетам до того овладело Писемским, что прокралось и в картины отживших порядков, им созданные (трагедия «Самоуправцы», 1867, и «Бывые соколы», 1868), так же точно, как в изображения из современных нравов. Цели и приемы литературного памфлета всегда и везде одинаковы. Они состоят в том, чтобы довести лицо или событие до высшей степени безобразия, какое для них только мыслимо, а все недостающее им до этой позорной апофеозы изобрести более или менее искусно и правдоподобно. На это дело потрачено было Писемским много таланта, юмора и энергии. Комедия его «Ваал», например, – шедевр этого рода произведений, – рисует уже оргию современного хищничества начистоту, почти без литературного прикрытия, с грубостью народного фарса, называющего все предметы по их именам[26]. Но памфлетический образ обработки сюжетов имеет один большой недостаток: он устраняет труд созидания характеров и довольствуется одним выпуклым изображением их главного порока, предоставляя на основании этого документа дорисовывать самые типы воображению читателя. Вместе с тем он увольняет автора и от обязанности раскрывать психические побуждения лиц и заботиться о логическом ходе пьесы: все это становится ненужным, когда успех или влияние произведения зависят только от яркости красок, употребленных на обличение того или другого безобразия. Раз памфлетическое создание вырвало у своих читателей слово негодования и отвращения к изображаемому предмету, которого добивалось и которое оно же им и подсказало, дело его кончено:

оно устраняется как вещь, выслужившая свой срок и получившая свою награду. От него ничего не остается, как от обвинительной прокурорской речи после судейского приговора. Не то бывает с дельной художественной сатирой. Процесс ее развития всегда столь же важен, как и ее тема, потому что затрогивает на пути своем основы и духовное настроение общества, а для этого требуется соединение в одних руках большого творческого таланта, политического развития и понимания социальных нужд времени. Такая сатира редко останавливается на очевидных, зияющих ранах общества, предоставляя целение их докторам и советчикам, которые стекутся к пациенту со всех сторон по первому призыву; она преимущественно подвергает диагнозу своему скрытные болезни века, с которыми люди до того сжились, что считают их даже необходимыми условиями своего существования. Ссылки ее на живые примеры и личности далеко не походят на фотографические карточки с подсудимых, какие прилагаются к важным следствиям, а имеют в виду представить наглядные доказательства силы и объема тайного и общественного недуга. Художественная сатира, предостерегая от него своих современников, готовит вместе с тем потомству драгоценный исторический документ для будущего определения нравственного и физиологического положения целой эпохи.

Разрыв Писемского с Петербургом не коснулся старых друзей его, там оставленных. При всяком проезде через Москву они являлись к нему в тот уголок древней столицы, по соседству с Сивцевым Вражком, где Писемский поселился. С 1866 года он уже находился на службе советником Московского губернского правления – месте, предоставленном ему министром-литератором нашим, П. А. Валуевым, вследствие просьбы самого Писемского. Положение нашего автора было теперь упрочено. Каждое новое его сочинение тотчас же приобреталось издателями журналов, особенно новыми, которым имя Писемского служило как бы рекомендацией перед публикой. Перечислив себя окончательно в московские жильцы, он подумал и об устройстве постоянного дома. Маленький купленный им клочок земли он обстроил чистыми наемными помещениями, под собственным своим наблюдением, и с замечательным расчетом пространства и воздуха отвел себе на дворе особый флигель с садиком, отделав его для спокойного жизненного труда очень тщательно. В этом домике мне и случалось проводить долгие часы, которых никак нельзя было назвать потерянными часами. Редкое свойство Писемского – всегда походить на самого себя и класть особую печать своего духа и ума на все предметы обсуждения делало беседы с ним занимательными и оригинальными в высшей

степени. Он не потерял способности различать, за тонкой тканью мыслей и слов, настоящее лицо людей и представлять их себе, так сказать, в натуральном состоянии, такими, какими они должны были являться самим себе в своей совести и в своем сознании. Анализ этот, впрочем, нисколько не имел того острого, упорного и надоедливого характера, который не оставляет никакой мелочи без исследования и перевертывает ее на все лады, добиваясь от нее во что бы то ни стало какого-либо слова. Он выражался у него обыкновенно одним метким определением, часто юмористической фразой, которые почти всегда и затеривались в дальнейшем разговоре. Иной раз, слушая Писемского, приходило на ум, что в нем повторяется опять старый московский тип ворчливого туза, удалившегося на покой, но тут была и существенная разница. Тузы этого рода все принадлежали к вельможному чиновничеству нашему и приводились в движение завистью, обманутым честолюбием, злобой после падения их властолюбивых надежд, между тем как Писемский, хотя и мог назваться тузом литературным, но жажды повелевать и кичиться перед людьми никогда не испытывал, чувства зависти не знал вовсе и в своих заметках покорялся единственно природному свойству своего ума.

Нередко случалось и наездным и местным гостям его находить хозяина в состоянии апатии, хандры и ипохондрии. Это нападало на него – наподобие припадков падучей болезни – нежданно и беспричинно. Тогда высвобождалась у него самая беспокойная, мучительная, по своей неопределенности, грызущая тоска, не уступавшая никаким резонам. Много участвовала в производстве болезни, надо сказать, и его широкая русская натура, не вполне покоренная образованием. Будучи примерным гражданином и семьянином, он по отношению к самому себе, к внутреннему своему миру, находился постоянно в положении агитатора. Он скучал в рамках внешнего благосостояния, им же и созданного для себя, и, окруженный любовью всех близких ему людей и заслуженным почетом со стороны общества к своему характеру и деятельности, Писемский чувствовал по временам вражду к такому способу существования и желал неизвестных порядков, которые оторвали бы его от закоренелых привычек жизни, от обычного строя и течения ее, Но у Писемского были и верные охранители в минуты подобных припадков. Никогда самая необузданная фантазия, завладевшая им, не могла потушить искры здравого смысла, тлевшей в его душе; никогда также не пропадало у него сознание недостаточности своих физических и нравственных сил для того, чтобы найтись и устроиться в каком-либо другом мире, кроме того, который его окружал. Он

возвращался снова к условиям реального существования, сопровождаемый хандрой и изнеможением как результатами прошлого раздражения своей мысли.

В позднейших наших встречах я замечал год от году все большую перемену в Писемском. Он заметно тяжелел и осунулся, а красивое лицо, с крупными умными чертами, его отличавшими, приобретало все более и более болезненное выражение. Он ничем не страдал, но жаловался на утрату сил. Помню, что однажды он зашел ко мне, по дороге к месту служения, в форменном своем вицмундире, и на замечание, что привольная московская жизнь кончается обыкновенно протестом всего организма нашего – отвечал печально: «Это имеет смысл по крайней мере; а вот я, вставая утром с постели, уже чувствую без всякого повода усталость во всем существе». Не трудно было угадать, что первый серьезный недуг или первое серьезное несчастие сломят этот организм, надорванный уже мыслию и постоянным беспокойным состоянием духа, несмотря на внешний крепкий состав его, обманывавший всех, кто видел Писемского.

Так именно и случилось. Над Писемским разразилась – и совсем неожиданно – страшная катастрофа. Любимый сын его, Николай, замечательный по уму и благородству характера молодой человек, только что блистательно кончивший университетский курс и уехавший в Петербург, где у него было уже место и открывались большие надежды -на будущее, внезапно покончил жизнь самоубийством, причины которого не разъяснены порядком и доселе[27]. Удар для Писемского-отца был сокрушительный в полном смысле слова. По свидетельству домашних, он уже никогда до самой смерти и не поправлялся после него. Со смертью сына наступила та полоса кажущейся, призрачной жизни, которая имеет все подобие действительной, настоящей, будучи, в сущности, только свидетельством ее отсутствия. Она тянулась довольно долго для Писемского, благодаря попечительной руке, находившейся возле него. Рука эта потрудилась ввести опять Писемского в колею вседневной, обыкновенной, будничной жизни, которая на душевнобольных действует более спасительно, чем обыкновенно думают. По милости обязательных распорядков такой жизни Писемский возвратился опять к свету, к своим знакомым, по временам к юмористическому настроению и даже к мечтам и затеям своей фантазии, которые составляли вторую природу его, но все это уже производилось без увлечения, без пыла и страсти. В последнее время Писемский походил на бледную копию с эффектного, многосодержательного оригинала. Душевная рана со всеми мыслями, которые она пробуждала, никогда уже не закрывалась и

медленно, но постоянно разливала отраву по всему существу его. Она и свела его в могилу. Писемский слег в постель под действием одного из тех мрачных припадков недовольства и мнительности, которые стали находить на него все сильнее и чаще после семейной катастрофы. По признанию жены покойного, она не ожидала близкого конца и думала, что припадок минуется, как все предшествовавшие ему и разрешавшиеся обыкновенно молчаливой грустью и физическим изнеможением. Но это было уже последним проявлением исстрадавшегося организма, лишенного всех нужных сил сопротивления, и перешло в предсмертную агонию. Прибавим к этому рассказу одну черту. За все время продолжительной психической своей болезни единственным облегчающим средством против нее, бальзамом, который утишал ее муки и давал Писемскому минуты истинного покоя, был его письменный стол. Он прибегал к нему за временным исцелением каждодневно. За ним он вступал в обладание всеми своими способностями и чувствовал себя полным человеком – и был прав, как доказывается последним его романом «Масоны», 1880 год, изданным за несколько месяцев до кончины автора и носящим на себе все признаки большого и далеко не угасшего таланта. Только подобному таланту было возможно превратить личные воспоминания об одном живом и довольно странном лице своей молодости в тип представителя целого учения и в этом качестве замешать его в сложную интригу романа.

До последней развязки этой жизни я два лета сряду видел Писемского в Бадене, где жил тогда (1874–1875). Продолжительная разлука давала особенную ценность этим свиданиям. С первого раза поразил меня вид разрушения, произведенного на моем посетителе горем и временем. Писемский походил на руину. Покинув службу в 1872, он являлся теперь за границу для свидания, во-первых, с другим оставшимся сыном, который приготовлялся в Геттингене, по поручению Московского университета, к занятию места адъюнкта при нем по кафедре права, а во-вторых, и для поправления своего здоровья после потрясений семейной катастрофы. Прожитое Писемским в Москве десятилетие (с 1863) завершалось преждевременною старостью. Грустно было видеть, как все существо его приходило в трепет от воображаемых близко грядущих бедствий и искало спасения вокруг себя с покорностью и беспомощностью ребенка. Мир был уже населен для него одними страхами, предчувствиями бедствий, грозными событиями, которые при всяком случае возникали в его уме, облекаясь плотию, и стояли, как живые, да еще и во всеоружии, придуманном для них болезненным

воображением страдальца. Помню, как однажды, ожидая прибытия сына в Баден, замедлившего почему-то свой отъезд из Геттингена, Писемский пришел в отчаяние. Он создал полную картину крушения железнодорожного поезда, на котором, по его соображениям, должен был находиться несчастный молодой человек, и умолял всех встречных справиться о месте катастрофы и о том, куда следует направиться, чтобы подобрать труп погибшего. Никакие объяснения и представления на него не действовали; он метался целую ночь и весь день в страшной тоске до тех пор, пока не явился налицо сам оплакиваемый сын. Надо сказать, что как сын, так и жена Писемского знали вообще, как обращаться с фантазиями больного. Будущий адъюнкт-профессор, например, очень серьезно выслушивал предостережения отца относительно осторожного перехода через улицу, осмотрительности в выборе лошадей и извозчичьего экипажа и т. д. и без улыбки принимал все его советы подобного же рода. Когда ценой таких уступок и попечений покупались минуты душевного спокойствия для Писемского, он становился прежним добродушным и остроумным юмористом: анекдоты старого времени, воспоминания молодости казались неиссякаемыми, жилка комика пробуждалась из летаргии и сказывалась в противопоставлении характеров, им встреченных, одного другому и т. д. Впрочем, оживление продолжалось обыкновенно недолго, а к концу жизни все эти остатки бывалой веселости все более и более смолкали.

В последний раз я видел Писемского на московских пушкинских праздниках 1880 года. На одном заседании этого замечательного как по характеру, так и по сложности своей юбилейного торжества, Писемский довольно вяло прочел свою речь о поэте, которого обожал как великого реалиста, открывшего в душе и нравственных сторонах русского человека еще не подозреваемые сокровища чувства и своеобычного ума. Речь его не имела успеха, будучи лишена блестящей аргументации, какая требуется от публичного слова, но ее выслушали с уважением к лицу и авторитету оратора. Затем Писемский уже не принимал участия в пиршествах и собраниях, сопровождавших открытие памятника Пушкину[28]. Я еще посетил его на даче, около Петровского парка, где он поселился. Он имел усталый вид, мало вдавался в беседу и только с видимым удовольствием показывал мне красивые рисунки, которые присоединил к его роману «Масоны» издатель журнала «Огонек», где роман печатался. Впрочем, он избегал разговора о самом произведении, как будто опасаясь, что обширное его заглавие вызовет вопросы, каких автор не имел в виду при сочинении. Конечно, это было

ошибочное предположение, так как все задачи романа намечены были в нем самом; но оно еще раз свидетельствует о того рода пугливости, которая стала его уделом за последнее время. Мы расстались, выражая надежду свидания по лету будущего года. Не прошло и шести месяцев, как журналы принесли весть о его кончине, последовавшей 21 января 1881 года.

Писемский представляет из себя лицо, во многих отношениях трогательное. Следуя примеру чистосердечия и откровенности, который он дал нам всей своей жизнью, мы позволяли себе упоминать о его болезнях и слабостях, но, может быть, биографическое разоблачение это еще укрепит сочувствие читателя к этому замечательному человеку. Не в виде принижения или оскорбления нашего автора, а скорее в виде посмертного венка на его могилу, скажем, что Писемский принадлежал многообразной, но цельной и единой по выражению *русской толпе* и являлся в литературе нашей ее представителем. Это своего рода гласный из народа, схожий со своими избирателями как по уму, таланту, так и по нравственному содержанию. Можно указывать. его недостатки, не соглашаться с его убеждениями, видеть погрешности в его представлениях, но не узнать в нем выражения народного способа понимать лица и предметы, кажется, нет возможности. Самая грубость тона в его едких обличениях пороков и преступлений, выбор тем, большею частию бросающихся в глаза своим позорным содержанием, и отвращение к какого-либо рода идеализации существующего быта, к которой никогда во всю жизнь он и не прибегал, показывали в нем бывалого человека, знакомого со взглядами, чувствами и суждениями толпы. Позволительно, конечно, усматривать несовершенства в планах и в самой постройке некоторых его произведений, но непозволительно было бы не признать силы творчества, проявляющейся в них на каждом шагу. Особенность его большого таланта заключалась, по нашему мнению, в том, что он ясно носил на себе печать непосредственности и вдохновения, отличающих народное мышление. Не ломая головы, не собирая предварительных заметок и документов, Писемский прямо, без подготовки, порождал любопытные, забавные и всегда выразительные типы, которые теперь и гуляют по лицу нашей земли, открывая ей собственную ее физиономию. Такими типами изобилуют все его сочинения без исключения, даже и самые слабые. В лице Писемского читающая народная масса нашла себе летописца, а с такими представителями ее необходимо считаться не в одной политической, но и в литературной сфере. К тому же Писемский носил почетное звание это весьма достойным образом, потому

что соединял в себе качества, редко встречаемые вместе. Это был замечательный художник и в то же время *простой* человек в благороднейшем смысле этого слова!

Сколько симпатий, неудержимого влечения к человеку, добрых чувств и мыслей пробуждает один этот эпитет: «простой человек», когда он прилагается к деятелю, имевшему общественное значение. Писемский заслужил его вполне. В наш век составления огромных состояний, как и огромных репутаций, он оставался равнодушным к подстрекательствам честолюбия и тщеславия. Он, наоборот, мысленно участвовал в энтузиазме общественного мнения, когда оно присуждало награды и апофеозы истинной заслуге и достоинству, не думая вовсе о своих правах на такое же отличие. Мы уже сказали, что всякое подобие зависти было чуждо душе его, как равно и всякое усилие обратить на себя внимание публики, выступив кандидатом на ее исключительное благоволение. Свою ношу таланта, изобретательности, наблюдения он нес чрезвычайно скромно в течение своей жизни, не имея и в помысле выдавать ее за вместилище необычайных открытий и довольствуясь той оценкой ее, которую получал вседневно и обыкновенным путем хладнокровной трезвой критики. Облик его перейдет. совершенно ясным и определенным к потомству и не помрачится никакими последующими разъяснениями и разоблачениями, потому что все разъяснения и разоблачения он испытал и перенес уже при жизни лица, которое его носило. Несмотря на обычную ему резкость выражения в мыслях и образах, Писемский был еще добродушнейшим человеком своего времени. Особенно выделялось одно его качество. Он считал великим бедствием на земле несправедливость, оказанную человеку, и притом бедствием столько же для потерпевшего от нее, сколько и для того, кто в ней провинился. Мы могли бы привести несколько примеров, когда наговоры какого-либо дружеского кружка на намеченную им жертву, как часто бывает с ними, погружали его в недоумение, почти в ужас и заставляли его морально страдать, отыскивая их причины и поводы… Если болезни, слабости, падения Писемского приравнивали его к толпе, то, с другой стороны, он разделял с нею и ее гнев и негодование на людскую несправедливость, ее презрение и отвращение к торжеству нравственного безобразия на свете и ее любовь к единственному оружию, находящемуся в ее распоряжении, – насмешке, карикатуре, памфлету. Мы находим, что *простой* человек такого рода заслуживает стоять рядом с теми героическими фигурами, какие по справедливости воздвигло наше общество, в своем умственном пантеоне, памяти людей, которыми оно гордится и

заслугу которых высоко ценит.

Баден-Баден, 1882.

Примечания

Анненков писал свой очерк-воспоминание о Писемском в конце 1881 – в самом начале 1882 г., то есть вскоре же после смерти писателя (январь 1881 г.), и называл этот очерк «пространным некрологом».

Мемуарист располагал богатым биографическим материалом, собранным к тому времени женой и сыном писателя, но мало использовал его. В письме к Е. П. Писемской от 28 октября 1881 г. он подчеркивал, что пишет не биографию, а именно воспоминания и ставит своей целью «определить с некоторой достоверностью нравственные качества» А. Ф. Писемского, «те богатства души, мысли и таланта, которые лежали в основе его природы» («А. Ф. Писемский. Материалы и исследования», изд. АН СССР, М. – Л. 1936. стр. 17). И в этом качестве воспоминания Анненкова действительно являются одной из интересных зарисовок духовного облика Писемского, его умонастроений и взглядов в пятидесятые – шестидесятые годы, когда мемуарист особенно близко знал писателя.

Вместе с тем воспоминания эти содержат и вдумчивый критический очерк творчества Писемского, краткую, но содержательную характеристику основных его произведений – ранних повестей, романов «Тысяча душ» и «Взбаламученное море», драмы «Горькая судьбина», – сопровождаемую любопытными размышлениями об особенностях его таланта, манере письма, об отличии памфлета от сатиры и т. д.

Анненков был одним из ближайших и верных друзей Писемского на протяжении четверти века. Писатель дорожил его критическим мнением, делился с ним творческими планами, неоднократно читал ему и Дружинину свои произведения еще в рукописи. Анненков внимательно следил за творческим развитием писателя, много писал о его произведениях. и Писемский был прав, когда в одном из писем 1875 г. признавался. что все его литературные труды «прошли под наблюдением» дружеского и эстетического ока Анненкова («А. Ф. Писемский. Материалы и исследования», изд. АН СССР, М. – Л. 1936, стр. 294).

Проникновение в психологию творчества Писемского, характеристика и силы и слабости его как художника – самая ценная сторона воспоминаний Анненкова. По его справедливому мнению, Писемский обладал замечательной «непосредственной силой творчества», но ограниченность его умственного горизонта, бедность миросозерцания и идеалов, а следовательно, и

отсутствие внутренней «дисциплины» сплошь и рядом приводили к тому, что писатель оказывался «под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу».

Осмысление общественного значения публицистической и художественной деятельности Писемского – наиболее слабая сторона воспоминаний Анненкова. Мемуарист не скрывал от своих друзей, что он писал очерк о Писемском с явной тенденцией, во-первых, «выбелить грехи героя», то есть оправдать Писемского в глазах либеральных кругов, развеять миф о его «измене» в годы реформы прежним, якобы либеральным убеждениям, а во-вторых, противопоставить образ Писемского-консерватора, «простого человека», представителя «русской толпы», – «героическим фигурам» русского освободительного движения и тем «ослабить значение идолов нынешнего времени», то есть революционеров-разночинцев (см. письмо Анненкова к М. М. Стасюлевичу от 23/11 февраля 1882 г. в сб. *Стасюлевич,* стр. 399).

Анненков безусловно прав, когда подчеркивает и своеобразие и единство общественно-политической позиции Писемского в литературном движении пятидесятых и шестидесятых годов, его разноречие с либералами, его трезвый взгляд на вещи, его скептицизм в отношении либеральных реформ, его органическое недоверие и даже ненависть ко всевозможным либеральным прожектам и упованиям.

Будучи в целом человеком консервативных взглядов, откровенно и прямо нападая в шестидесятые годы на революционно-демократический лагерь, Писемский вместе с тем оказывался чужд и ретроградной идеологии «верхних» слоев дворянско-буржуазного общества, вел «непрерывную войну» с царской цензурой, оберегавшей «чистую» публику от его «площадных» разоблачений и грубого юмора.

Анненков верно подмечает в лучших произведениях Писемского, в его обличениях мотивы того темного, консервативного демократизма, который свойствен в период ломки крепостных устоев и зажиточному мужику, и волостному писарю, и мелкопоместному дворянчику, и мелкочиновной разночинской сошке.

Но Анненков не только «оправдывает», но и явно идеализирует Писемского, когда приписывает ему «духовное родство» с народом, именует «историческим великорусским мужиком» вроде второго Ломоносова и т. д. или когда темный и грубый натурализм, свойственный многим произведениям Писемского («плотяной реализм», как говорил Щедрин),

приравнивает к «народному мышлению».

Тенденциозность Анненкова в обрисовке идейно-литературной борьбы шестидесятых годов и черты явной апологии в характеристике Писемского и его творчества вызвали нарекания со стороны А. Н. Пыпина при печатании воспоминаний в четвертой книжке «Вестника Европы» за 1882 г. Очевидно, Пыпину принадлежит и то примечание, которое редакция журнала сделала к характеристике шестидесятых годов, имеющейся в воспоминаниях (смотри ниже).

Анненков не согласился с мнением Пыпина. Когда воспоминания были уже напечатаны, он писал М. М. Стасюлевичу от 15/3 апреля 1882 г. из Бадена: «Хотя А. Н. Пыпин не совсем доволен статейкой, но все-таки остаюсь в убеждении, что образ и обстановка Писемского верны и не без занимательности для современного поколения написаны» (*Стасюлевич,* стр. 400). Тепло отозвался о воспоминаниях Анненкова Тургенев. «Какая славная его статья о Писемском», – писал он М. М. Стасюлевичу из Парижа 26/14 апреля 1882 г. (там же, стр. 202).

Товарищество М. О. Вольфа, предпринявшее первое посмертное издание сочинений А. Ф. Писемского (1884) и уже напечатавшее в первом томе биографический очерк о писателе С. Венгерова, пошло на то, чтобы вырезать этот очерк и заменить его более доброжелательными по тону воспоминаниями Анненкова. Анненков, вероятно, просмотрел текст воспоминаний для книжной публикации, изменил название на «А. Ф. Писемский как художник и простой человек. Критико-биографический очерк». Была также опущена фраза в конце воспоминаний:

«Мы расстались, выражая надежду свидания по лету будущего года», в отдельных случаях внесены малозначительные изменения.

В настоящем издании воспоминания печатаются по журнальному тексту («Вестник Европы», 1882, № 4).

notes

Примечания

1

См. более подробный и откровенный рассказ Анненкова о разгуле в это время правительственной реакции в России в его очерке «Две зимы в провинции и деревне».

2

Анненков называет здесь состав так называемой «молодой редакции» «Москвитянина», объединения временного, во многом случайного и крайне расплывчатого в идейно-творческом отношении. Мемуарист идеализирует роль и значение этого объединения, замалчивает откровенно реакционные черты в его деятельности – и пропаганду идей «чистого искусства», и проповедь «народности» в славянофильском духе, и апологию под видом «нового слова» слабых, мелодраматических и идиллических сторон в произведениях Островского, Потехина и того же Писемского.

3

Анненков жил в это время в Симбирске. Повесть Писемского «Тюфяк» (второе из напечатанных его произведений) была опубликована в октябрьском и ноябрьском номерах «Москвитянина» за 1850 г. Повесть «Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына. Брак по страсти» – в февральском – апрельском номерах того же журнала за 1851 г.

4

Письма Писемского к И. И. Панаеву, которые имеет здесь в виду Анненков, до сих пор не обнаружены. Интересов провинциальной читающей публики Писемский касался и в своей переписке с Некрасовым (см., например, его письмо к Некрасову от октября 1854 г. по поводу успеха «Фанфарона» – «А. Ф. Писемский. Материалы и исследования». М. – Л. 1936, стр. 78–79). Знакомство Писемского с Панаевым состоялось, очевидно, в начале 1851 г., когда Писемский приезжал из Костромы в Москву. Роман «Богатый жених» стал публиковаться в «Современнике» в 1851 г. с октябрьской книжки и печатался вплоть до майского номера 1852 г.

5

Неточно: Писемский переехал на жительство в Петербург в конце 1854 г.

6

Велеречивые и крайне туманные рассуждения о *«новом сильном слове»,* вызвавшие в дальнейшем ходе литературной полемики немало насмешек, впервые высказаны были Ап. Григорьевым в обозрении русской литературы за 1851 г. («Москвитянин», 1852, книги 1, 2, 3, 4) по поводу «Бедной невесты» А. Н. Островского.

7

Взаимоотношения писателей «Современника» и «молодой редакции» «Москвитянина» были значительно сложнее, чем это представляется Анненкову. Вопреки его мнению, и Тургенев и редакторы «Современника» всегда одинаково отрицательно относились к направлению «молодой редакции» «Москвитянина», в том числе и к эстетско-славянофильской критике Ап. Григорьева. Но они уже с первой комедии Островского высоко оценили его дарование, сразу же заметили талантливые произведения Писемского и постарались в дальнейшем сблизиться не с «московским кружком» вообще, как это получается у Анненкова, а именно с этими писателями и помочь им избавиться от влияния реакционной славянофильской доктрины.

8

Рецензия Тургенева «Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста» появилась в мартовской книжке «Современника» за 1852 г. Автор выразил в ней свое сочувствие и уважение драматургу, «действительно замечательному и даровитому», а вместе с тем в конце статьи, имея в виду дурное влияние славянофилов на Островского, Тургенев пожелал ему как можно скорее «выпутаться из тех сетей, которые он сам наложил на свой талант» (*Тургенев,* т. 11, стр. 146). Этой же мыслью был проникнут и фельетон И. Панаева «Канун нового, 1853 года. Кошемар в стихах и прозе нового поэта», прямо направленный против «пустозвонных речей» Ап. Григорьева по поводу «Бедной невесты». Как известно, Островский разорвал вскоре свои отношения со славянофилами и сблизился с «Современником». Писемский же был менее последователен. // Иной, нежели Тургенев, Некрасов и Панаев, действительно «эклектической» позиции держались в этом вопросе А. Дружинин и сам Анненков, так же как и «молодая редакция» «Москвитянина», исповедовавшие теорию «чистого искусства».

9

Речь идет о рассуждениях Писемского по поводу фактов, сообщаемых о петровском времени в известном «Дневнике» Ф. В. Беркгольца (или Берхгольца), генерала русской армии, из голштинских дворян. Впервые дневник этот в переводе на русский язык был издан славянофилом А. И. Кошелевым в Москве в 1857–1860 гг. и являлся тогда литературной новинкой.

10

См. также о чтении Писемского в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева (Гослитиздат, 1950, стр. 174). // Кстати об этих чтениях. Он действительно передавал мастерски собственные сочинения, находя чрезвычайно выразительные интонации для всякого лица, выводимого им на сцену (в драматических его пьесах это выходило особенно эффектно). Так же мастерски рассказывал он множество уморительных анекдотов из его встреч с разными лицами своей молодости. Подобных анекдотов были у него целые короба, и в каждом из них выражался более или менее законченный комический тип. Многие из этих типов были им обработаны позднее и попали в его сочинения. Но репутация великого актера, которая была ему составлена в Москве и которой он очень гордился, – не выдержала окончательной пробы. Так, при исполнении им роли городничего в «Ревизоре» Гоголя, данном на публичном спектакле в пользу литературного фонда, который был тогда в большой моде (1860), он оказался слабым и монотонным, изображая эту живую фигуру. Дело в том, что Писемский всегда счастливо находил одну верную ноту в предоставленной ему роли и по ней создавал все лицо исключительно, пренебрегая всеми другими оттенками его. Однажды я был свидетелем, как Писемский, в присутствии покойного Мартынова, вздумал оправдывать эту грубую, упрощенную манеру понимания изображенных лиц и утверждал, между прочим, что гениальный создатель «Ревизора», кажется, писал свою комедию не для сцены, потому что в городничем его беспрестанно встречаются вводные мысли и отступления, сбивающие с толку актера и мешающие ему проводить роль в надлежащем единстве. Великий наш комик, который был также и очень сильным теоретиком своего искусства, горячо возражал на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что все эти à parte, побочные мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляют благодарную задачу для истинного актера, помогая ему выказать в полном блеске свое дарование и слиянием всех этих отдельных черт в один полный образ создать характер, способный остаться надолго в преданиях театрального мира. Писемский, кажется, остался при своем мнении. (*Прим. П.В. Анненкова.*)

11

См. об этом: Горбунов И.Ф. «Из моего дневника. 1855 год» – «Новое время», 1881, № 1778.

12

Речь идет об участии Писемского в так называемой «литературной экспедиции» 1856–1857 гг., предпринятой писателями по приглашению морского ведомства с целью исследования быта жителей, занимавшихся морским делом и рыболовством. Писемский путешествовал в районе Баку, Астрахани и свел в дальнейшем свои впечатления и наблюдения в ряд интересных очерков: «Путевые очерки», «Армяне», «Татары», «Астраханские калмыки» и др.

13

Речь идет об издании петербургскими издателями Ф. Г. Стелловским и А. С. Гиероглифовым сочинений А. Ф. Писемского в трех томах, начатом в 1861 г. Четвертый, дополнительный том появился в 1867 г.

14

И здесь и ниже Анненков дает явно панегирическую характеристику критику А. В. Дружинину, англоману, реакционеру и эстету по своим литературно-общественным убеждениям. Анненков был близок к Дружинину по антидемократической и эстетской направленности своей критической деятельности. Консерватизм в общественных вопросах, защита теории «чистого искусства» сближали с Дружининым А. Ф. Писемского.

15

Писемский вошел в состав редакции «Библиотеки для чтения» в конце 1857 г. и вскоре же стал соредактором Дружинина по этому журналу, стремясь привлечь к участию в нем и своих приятелей по «молодой редакции» «Москвитянина». С 1861 по 1863 г., в связи с болезнью Дружинина, А. Ф. Писемский уже единолично редактировал «Библиотеку для чтения».

16

Это место воспоминаний Анненкова редакция «Вестника Европы» сопроводила следующим примечанием: «Мы согласимся также, что история этой эпохи преждевременна, и, давая место настоящим воспоминаниям о Писемском как любопытному личному свидетельству об этом писателе и как одной стороне мнений, предполагаем возвратиться к этому времени с другими историческими данными. – Ред.». («Вестник Европы», 1882, № 4, стр. 639).

17

Анненков тенденциозен и односторонен в характеристике эпохи первого демократического подъема. Но он довольно верно передает то огромное впечатление, которое произвела на современников статья Н. Добролюбова «Темное царство», появившаяся в июльской книжке «Современника» за 1859 г. См., например, о значении этой статьи свидетельство Н. В. Шелгунова (Н. В. Шелгунов, Сочинения, 1895, т. II, стр. 683).

Судя по логике мысли, Анненков имеет здесь в виду не консервативную и либеральную партии в собственном смысле этих слов, а в первую очередь обострение борьбы в период революционной ситуации между революционно-демократическим лагерем, во главе с Чернышевским и Добролюбовым с одной стороны, и партиями «порядка», либеральной и консервативной – с другой.

19

«Свисток» в качестве сатирического отдела «Современника» начал выходить с 1859 г. Его душой были Н. Добролюбов и Н. Некрасов, участие в «Свистке» принимали И. Панаев, М. Михайлов, Н. Чернышевский, М. Салтыков-Щедрин и др.

20

Фельетоны Писемского стали печататься в «Библиотеке для чтения» в 1861 г. с первого же номера этого журнала. Вначале они шли от имени карьериста и приспособленца-либерала «статского советника Салатушки», затем под ними появилась подпись «старой фельетонной клячи» – Никиты Безрылова. В ряде своих первых фельетонов Писемский высмеивал приспособленцев-либералов, а в дальнейшем стал цинично и грубо нападать на радикально настроенную молодежь. // Особое возмущение в передовых кругах вызвал его фельетон, опубликованный в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 г. и содержавший прямую клевету на журналистов прогрессивной печати. Журнал «Искра» напечатал ответ Писемскому, обвиняя его в поругании русского печатного слова. Писемский отвечал фельетонами, еще более грубыми и циничными, чем декабрьский. Эта полемика привела к вызову Писемского на дуэль издателями «Искры» В. Курочкиным и Н. Степановым и завершилась решением писателя в конце 1862 г. отказаться от редактирования «Библиотеки для чтения».

21

Писемский переехал на жительство в Москву в начале 1863 г.

22

Анненков имеет в виду появление в период общественной реакции шестидесятых годов так называемых «антинигилистических» романов, обличавших революционно настроенную молодежь.

23

«Плотничья артель. Деревенские записки» была опубликована в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1855 г. Рассказ «Старая барыня» появился в февральской книжке «Библиотеки для чтения» за 1857 г., рассказ «Батька» – в январской книжке «Русского слова» за 1862 г. Роман «Тысяча душ» был напечатан в первых пяти номерах «Отечественных записок» за 1858 г., драма «Горькая судьбина» – в ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1859 г.

24

Уваровская премия была присуждена Писемскому Академией наук за драму «Горькая судьбина» в 1860 г., одновременно с премией Островскому за драму «Гроза».

25

По-видимому, суть переданной здесь беседы с актером Мартыновым по поводу финала «Горькой судьбины» была известна в свое время близким приятелям писателя, в том числе и Анненкову. А в 1881 г., когда мемуары о Писемском уже обдумывались и писались, Анненков располагал и записью этой беседы, сделанной, очевидно по памяти, женой и сыном Писемского (см. публикацию этой записи и комментарий к ней А. П. Могилянского в Собр. соч. А. Ф. Писемского, т. 9, изд. «Правда», М. 1959, стр. 607–608).

26

Драма «Ваал» появилась в апрельской книжке «Русского вестника» за 1873 г.

27

Младший сын Писемского, Николай, застрелился в феврале 1874 г.

28

На чтениях в Обществе любителей российской словесности, приуроченных к открытию памятника Пушкину в Москве и состоявшихся в начале июня 1880 г., А. Ф. Писемский выступал с речью: «Пушкин как исторический романист» (речь не сохранилась). На музыкально-литературных вечерах 5 и 8 июня он читал стихотворения поэта «Гусар» и «Полководец».